

Одним январским вечером в начале семидесятых годов Кристина Нильсон пела в «Фаусте» на сцене нью-йоркской Музыкальной академии.

Хотя уже поговаривали, будто на далекой городской окраине, «где-то за сороковыми улицами», скоро начнут строить новый оперный театр, который по блеску и роскоши сможет соперничать с театрами великих европейских столиц, светское общество по-прежнему каждую зиму довольствовалось потертыми красными с золотом ложами гостеприимной старой Академии. Консерваторы ценили ее за то, что она мала, неудобна и потому недоступна «новым людям», которые уже начинали пугать, но в то же время и притягивать к себе ньюйоркцев; люди сентиментальные хранили ей верность ради связанных с нею исторических ассоциаций, меломаны — ради превосходной акустики, качества, столь необходимого для помещений, где слушают музыку.

Той зимой госпожа Нильсон выступала в первый раз, и публика, которую ежедневные газеты уже научились

называть «на редкость блестящей», отправилась в театр по скользким заснеженным улицам либо в собственных двухместных каретах, вместительных семейных ландо, либо в более скромных, но и более удобных «экипажах Брауна». Приехать в оперу в экипаже Брауна было столь же почетно, сколь и в собственной карете; отъезд же в нем обладал еще и тем неоценимым преимуществом, что каждый (как истый демократ) мог тотчас же сесть в первую из выстроившихся в ряд брауновских колясок, не дожидаясь, покуда под крытой галереей Академии блеснет покрасневший от холода и джина нос его собственного кучера. Великий извозопромышленник выказал редкостное чутье, подметив, что американцы хотят покидать места развлечений еще быстрее, чем туда являться.

Когда Ньюленд Арчер вошел в ложу своего клуба, занавес как раз поднялся, открывая сцену в саду. В сущности, ничто не мешало молодому человеку приехать в театр раньше — в семь часов он пообедал с матерью и сестрой, после чего не торопясь выкурил сигару в готической библиотеке, уставленной застекленными книжными шкафами черного ореха и стульями с резными спинками, — единственной в доме комнате, где миссис Арчер разрешала курить. Но, во-первых, Нью-Йорк — город столичный, и всем известно, что в столичных городах рано приезжать в оперу «не принято», а понятие «принято» или «не принято» играло в Нью-Йорке Ньюленда Арчера роль не менее важную, чем непостижимый страх перед тотемами, которые вершили судьбы его предков много тысяч лет назад.

Вторая причина его опоздания была сугубо личного свойства. Он задержался с сигарой потому, что в глубине души был дилетантом, и мысль о предстоящем насла-

ждении часто доставляла ему удовольствие более острое, нежели само наслаждение. Это особенно касалось наслаждений утонченных, каковыми они у него по большей части и были, теперь же минута, которой он ожидал, обещала быть настолько редкостной и изысканной, что... словом, если б он даже согласовал свое прибытие с антрепренером примадонны, он не мог бы явиться в Академию в момент более значительный, чем тот, когда она пела: «Он любит — не любит — он любит *меня!*», окропляя падающие лепестки ромашки чистыми, как росинки, звуками.

Она, разумеется, пела не «он любит меня», а «M'ama!» — ведь согласно непреложному и неоспоримому закону музыкального мира, немецкий текст французских опер в исполнении шведских артистов следует переводить на итальянский язык, чтобы англоязычная публика лучше его понимала. Ньюленду Арчеру это казалось столь же естественным, сколь и все прочие определяющие его жизнь условности, вроде того что расчесывать волосы полагается двумя щетками с серебряным верхом и с монограммой из голубой эмали или что в обществе никоим образом нельзя появляться без цветка (предпочтительно гардении) в петлице.

«M'ama... non m'ama... — пела примадонна, — m'ama!...» В последнем порыве торжествующей любви она прижала к губам растрепанную ромашку и подняла большие глаза на плутоватую физиономию смуглого коротышки Капуля — Фауста: одетый в тесный фиолетовый камзол и шапочку с пером, он тщетно пытался придать себе выражение той же чистоты и невинности, что и у его простодушной жертвы.

Прислонившись к стене в глубине клубной ложи, Ньюленд Арчер отвернулся от сцены и стал рассматривать

противоположную сторону зала. Прямо напротив него находилась ложа миссис Мэнсон Минготт. Непомерная тучность старухи давно уже не позволяла ей ездить в оперу, однако на модных спектаклях она всегда была представлена кем-либо из младших членов семьи. На этот раз первый ряд занимали ее невестка, миссис Лавел Минготт, и племянница, миссис Велланд, а чуть позади обеих облаченных в парчу матрон, не сводя замороженного взора с влюбленной пары на сцене, сидела молодая девушка в белом платье. В ту минуту, когда в затихшем зале (во время исполнения арии с ромашкой разговоры в ложах всегда умолкали) прозвенело «M'ama!» госпожи Нильсон, на щеках девушки выступил теплый румянец, который залил ее лицо до корней светлых волос и окрасил высокую молодую грудь до скромного тюлевого шарфика, заколотого одной-единственной гарденией. Она опустила глаза на огромный букет ландышей, лежавший у нее на коленях, и Ньюленд Арчер увидел, как кончики пальцев в белых перчатках легонько коснулись цветов. Со вздохом удовлетворенного тщеславия он снова обратил взгляд на сцену.

На декорации, как видно, не пожалели средств, и их признали великолепными даже те, кому, подобно Арчеру, довелось побывать в парижской и венской опере. Вся передняя часть сцены вплоть до ramпы была застлана изумрудно-зеленым сукном. Посередине, из симметричных холмиков косматого зеленого мха, огороженных воротцами для игры в крокет, поднимались кусты, формой напоминающие апельсиновые деревья, но усеянные пунцовыми и алыми розами. Гигантские анютины глазки, намного крупнее этих роз и сильно смахивающие на узорчатые перочистки, изготавливаемые восторженными прихожанками в подарок модным священникам, пестрели во мху под ро-

зовыми кустами, а кое-где, предвосхищая чудеса природы, которые создаст Лютер Бербанк, красовались привитые на розу роскошные ромашки.

Посреди этого волшебного сада стояла госпожа Нильсон в белом кашемировом платье, отделанном голубым атласом, с ридикюлем на синем поясе и с толстыми желтыми косами, аккуратно уложенными по обе стороны кисейной шемизетки. Невинно опустив глаза, она слушала страстные признания господина Капуля, притворяясь, будто не понимает его коварных замыслов, когда он словом или взглядом многозначительно указывал на нижнее окно прелестной кирпичной виллы, под косым углом выступающей из-за правой кулисы.

«Душенька! — подумал Ньюленд Арчер, снова бросая взгляд на девушку с ландышами. — Она даже не подозревает, о чем идет речь». И он погрузился в созерцание ее сосредоточенного юного лица с чувством собственника, в котором гордое сознание мужской многоопытности смешивалось с трепетным преклонением перед ее безграничной чистотой. «Мы будем вместе читать „Фауста“... на берегах итальянских озер», — размышлял он, мешая смутные мечты о предстоящем им медовом месяце с литературными шедеврами, истинный смысл которых ему еще предстоит раскрыть своей молодой жене. Ведь не далее как сегодня Мэй Велланд позволила ему угадать, что он ей «небезразличен» (священная формула признания нью-йоркской девицы), и вот уже его фантазия, минуя обручальное кольцо, сопровождающий помолвку поцелуй и марш из «Лоэнгрина», рисует ее рядом с ним среди волшебной европейской старины.

Ему совсем не хотелось, чтобы будущая миссис Ньюленд Арчер была простушкой. Он надеялся, что она (благодаря его просвещенному обществу) приобретет

светский такт и остроумие, которые позволят ей занять достойное место среди наиболее популярных дам из «молодого круга» — тех, что, по установившемуся обычаю, принимают поклонение мужчин, шутливо их обескураживая. Если б ему вздумалось заглянуть в глубины своего тщеславия (порой ему это почти удавалось), он обнаружил бы там мечту, чтобы его жена была столь же искусственной и готовой угождать, как та дама, чьи чары почти два года слегка волновали его воображение; разумеется, желательно, чтобы она была покрепче той несчастной, — ведь слабое здоровье так омрачало ее жизнь, а один раз даже нарушило все его планы на целую зиму.

Он ни разу не удосужился задуматься о том, каким образом можно создать и сохранить в этом грубом мире вышеупомянутое чудо из льда и огня, ему было достаточно держаться своего мнения, никак его не анализируя, — ведь того же мнения были все тщательно прилизанные, облаченные в белые жилеты джентльмены с цветками в петлицах, которые один за другим входили в клубную ложу, обменивались с ним дружескими приветствиями и критически наводили бинокли на кружок дам, являвших собою продукт существующей системы. В области мысли и искусства Ньюленд Арчер считал себя бесспорно намного выше этих избранных представителей старой нью-йоркской знати; он наверняка больше читал, больше размышлял и даже гораздо больше повидал свет, чем любой из них. Поодиночке каждый во всем уступал ему, но, взятые в целом, они представляли «Нью-Йорк», и привычка к мужской солидарности заставляла его принимать их точку зрения по всем вопросам так называемой нравственности. Он инстинктивно чувствовал, что идти здесь своим путем было бы хлопотно, да к тому же отдавало бы дурным тоном.